

МЕЧТА О СЧАСТЬЕ. К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н. В. СТАНКЕВИЧА

Сегодня столетняя годовщина со дня рождения Станкевича, в будущем году - Бакунина и Лермонтова. Есть странность в этих сближениях: Станкевич и Бакунин, Станкевич и Лермонтов, Лермонтов и Бакунин!.. Но первое из них легко принимается нашим сознанием - как привычное: мы хорошо знаем о личной близости Станкевича с Бакуниным и всей его семьей, - они были связаны очень тесной дружбой, и эта дружба, была ли она случайностью или нет, стала историческим событием. Какой смысл в двух других сближениях? есть ли внутренняя связь между всеми тремя именами?

То общее впечатление, которое осталось в истории от Станкевича - идеальной чистоты сердца и молитвенной преданности мечте, не поколеблется никогда и навсегда останется. Он - один из наших святых, - внецерковных, общественных. Базаровы могли смеяться над его верой, что природа есть храм, уверенные сами, что она, напротив, мастерская, но никто никогда не усомнился в благочестии его сердца. Ни Базаровы, ни славянофилы.

И Бакунин, и К. Аксаков вспоминали о нем в одинаковых словах преклонения. Создал ли он Бакунина или Бакунин создавался самостоятельно. определил ли он К. Аксакова, внушил ли он Белинскому его критику, Грановскому его лекции, - все эти вопросы, останавливающиеся у границы того, в чем же душа этого благочестивого мечтателя, о котором так нежно вспоминали все, кто был с ним? Ведь ни идеальность сердца, ни пылкая идейность, ни мечтательный философизм - никакое другое подобное определение не говорят еще о душе того, кто был идеален, идеен, философичен. Разве таких было мало? даже идеальных сердцем? Почему же к нему так тянулись? почему от него протянулось столько стремительных и нежных лучей чуть ли не до сегодня?

Он был, судя по всему, необыкновенно органичен. Не в смысле непосредственности, "близости к природе", отсутствия "рефлексии", как тогда говорили. Напротив - в нем было немало свойств именно гамлетических. Но обаяние его заключалось, наверное, прежде всего в том, что, по самому глубокому из своих определений, надо назвать искренностью. Он знал только действительно рождавшиеся в нем чувства, только им и мог отдаваться; он не принимал "раздражения мысли" за колебания сердца - он не лгал сам перед собой, он никого не обманывал тем обманом, которым легко обманываются и обманывают других, когда, при отсутствии внутренней силы, живут ее призраками. Пусть были правы Базаровы - и он был лишь мечтатель; пусть правы были славянофилы - и он был не связан с "почвой", но он воистину переживал свою мечту, был в ней, ею проникся. До страсти ли? Может быть, он был недостаточно горяч, но до того предела, который был ему определен. И не более, потому что за этим пределом начиналась бы его ложь. В правде своего сердца, в этой истинной "простоте" он и был так пленителен даже для тех, кто смотрел на него со стороны. Связан ли он с "почвой"? Для эпохи романтизма правда его сердца была уже настоящим преодолением, и от нее одной могли бы протянуться лучи до сегодня.

В чем было ее содержание? Задавая себе этот вопрос, всегда спрашивают: был ли Станкевич шелленгианец или гегельянец? Усвоил ли Фихте или Канта - вопросы, настолько же останавливающиеся "на границе", как и вопрос о его собственном влиянии на других. Тем более, что самый смысл этих идеологий может быть понимаем различно. Но если прочесть его немногие стихи (всего 12), писанные им, вероятно, еще до философских крещений, и его юношескую (даже отроческую) "метафизику", изложенную в одном из ранних дружеских писем, мы почувствуем его, кажется, ближе и безотносительнее, чем сквозь философские влияния. Потому что в нем самом, в его существе, с изумительной прозрачностью, сказалось одно из самых вечных стремлений человеческих, вечных и неутолимых; из всех стремлений - самое женственное: мечта о счастье, счастье личном, личных радостях, восторгах и утешениях благочестивого в своей нежности сердца.

Читая письма Станкевича, по которым преимущественно и восстанавливается его облик, мы словно читаем письма девушки к подруге, даже к жениху, - до того они именно женственны, до того проникнуты девичьими вздохами: о разрешении всех надежд и волнений в личной любви, в личном счастье, словно наполнены брачной мечтой, которая может и не сбыться:

Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши...

.....
Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души,
И суждено совсем иное...

.....
Я тебя: единым взором
Надежды сердца оживи...

В "метафизике", написанной восторженно, как признание в любви, воспевается, - иногда почти стихами, - влюбленная в мир и грезящая о своей любви душа мира, а человек представлен ее свободным и вдохновенным выразителем.

"Природа существует... Жизнь природы есть непрерывное творчество... Ничто не гибнет... Смерть есть рождение... Природа есть сила, жизнь, творчество... Природа есть разумение... Все создание есть жизнь, развивающаяся по законам разумения... Роды существ составляют лестницу, по которой жизнь идет к саморазумению... Не менее разумно действует она в камнях, как и в человеке. Камни живут в массе природы, растению дает она уже ощущение, животному произвольное движение; наконец, с полной свободой, *вся* является в человеке... Если жизнь есть разум, если жизнь есть воля, то она есть чувство по преимуществу... Вся она держится чувством, чувство это обнаруживается любовью..." И о самой любви уже почти стихами: "Любовь!.. Друг мой! Для меня с этим словом разгадана тайна жизни. Жизнь есть любовь... Мир вечен, ибо любовь не кончится, не кончится, ибо она

есть..."

Как это похоже на письма Наташи Захарьиной к Герцену - в его вятскую ссылку - и как слышится за этими отвлечениями тот же девичий шепот:

...И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль с отрадой и любовью
Слова надежды мне шепнул?

Стихи самого Станкевича известны менее всего. Обыкновенно говорят, что он не был писателем, что его влияние было влиянием личности, а не литературное, и не вспоминают о них. Но, как бы ни оценивать их, они поют, хотя и слабым голосом, но по-своему, - и они скажут чувствующим лирический ритм стиха о душе Станкевича точнее его писем. Он верил, что пафос мира и его смысл - любовь.

Пережил ли он ее сам?

Томлением по любви, а не самой любовью отмечены его стихи, и потому их ритм элегический, "томный", а не восторженный, как в "метафизике". Он хотел переживать не только в космическом сознании то, во что верил, как в тайну мира. И не чувствовал, не переживал. Вечное томление по счастью, вечная неутоленность!

Скроюсь от света, угасну в тиши!
Некому верить горе души!
Звездам - в них чувства иль нет, иль сокрыто;
Людам - прекрасное в людях убито.
Край есть далекий; в далеком краю
Бедное сердце - его я люблю;
Ноет, тоскует оено за горами;
Горы не горе - судьба между нами
("Раздумье")

Was ist das Leben ohne Liebesglanz? - спрашивает он себя словами Шиллера, и отвечает бессилием двойственного чувства и безнадежностью осуществления мечты, вечно требовательной, никакими приближениями неудовлетворенной:

Печально идут дни мои,
Душа свой подвиг совершила:
Она любила - и в любви
Небесный пламень истощила.
Я два созданья в мире знал,
Мне в двух созданьях мир явился:
Одно я пламенно лобзал,
Другому пламенно молился.
Две девы чтит душа моя,

По ним тоскует грудь молодая:
Одна роскошна, как земля,
Как небеса, свята другая.
И мне ль любить, как я любил?
Я ль память счастья разрушу?
Мой друг! две жизни я отжил,
И затворил для мира душу".
("Две жизни")

Другие стихотворения называются то "Подвигом жизни", то "Заветным" - и эти названия сменяются то "Грустью", то "Слабостью". Это - как у всех мечтателей о счастье, как раньше у Баратынского:

О счастья с младенчества тоскуя,
Все счастьем беден я...

Обоготворив любовь, Станкевич искал ее восторгов; он ждал ее явления с ранних лет, как чуда, везде, живя всегда, как будто накануне свиданья; и, собираясь на заурядную провинциальную вечеринку, верил в заветную встречу –

...Из-под таинственной, холодной полумаски...

И все встречи, какие случались, конечно, казались не теми, не заветными, и живые отношения с влюбленными в него девушками томили или едва касались души. Так с этой улыбкой недоумения и ушел он из жизни - 27 лет, в предчувствии возможного личного счастья, как будто оно только замедлило, как будто чудо замешкалось, случайно... Он не смешивал личного с общественным, он не отворачивался от общественности, но он думал, что личное есть священная часть великого целого; он думал вступить в связь с миром, напоенным любовью; любя лично, отдаваться миру. Но счастье не приходило.

...Все счастьем беден я.
Или во век его не обрету я
В пустыне бытия?

Подобно Баратынскому, поддаваясь "души разуверенью", он впадал в ту же безнадежность:

В раздумье стал я: блеск обманет,
Любовь коварна, жизнь летит,
Душа от радости устанет,
И рано сердце загрустит.
Забуду ж свет! К безвестной цели
Пойду через тернистый путь...
("Два пути")

И падал до тоски, до опустошенья, к которому неизбежно приводит мечта о счастье личном:

Взываю к небу и земле:
Земля и небо без ответа.
(Конец того же стихотворения)

Это предшествует лермонтовскому:

В небесах торжественно и чудно
Спит земля в сиянье голубом, -
Что же мне так больно и так трудно?

Он не отрекался от общности, он, говорят, верил в нее. Почему же он не пошел в нее? к людям? ко всем? к ближним? в любовь великую? Его общественное чувство удовлетворялось его "философским кружком". Этот кружок был явлением, как известно, вовсе не индивидуальным для Станкевича. Кружки были и раньше, и в то время. Но "кружок Станкевича" в нашем сознании овев дымкой какой-то исключительности, влюбленности. Да! влюбленности, которую Станкевич и вызывал к себе со стороны всех, соприкасавшихся с ним. Здесь и тайна его влияния. Во что были влюблены? В искренность, в органичность сердца, в мечту о счастье! Он сам был, как девушка, и к нему относились влюбленно. Чаще всего упоминают о Белинском, об Аксакове, о Бакунине в его кружке, об его влиянии на них, таких, в сущности, ему чуждых. Надо думать, что ближе ему был Грановский, да еще немногие поэты его кружка; но если кто на самом деле воплотил его порывы, то, конечно, Тургенев в поэтической веренице своих девушек - всегда в ожидании любви, в ожидании возможного счастья.

То же томленье по счастью, как и Станкевич, рано пережил и одновременно с ним Лермонтов; и еще острее сознал безнадежность своей мечты, - и эта безнадежность стала в нем гневом, но не родила из себя любви к людям, не претворилась в стихию общественную: мы знаем, как он сжал в себе эту безнадежность, и в предчувствии, в предвидении, в зрительном предощущении "Божьего сада" дожидаться не мог минуты, когда, наконец, войдет в него; и готов был братски обниматься со зверями, только бы не быть с людьми! Отрекся ли он от общности? По крайней мере, умер, ни с чем не примеренный:

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно...

Метафизика, которая могла бы быть извлечена из "Мцыри", напомнила бы "метафизику" Станкевича, а темы первых лермонтовских стихов словно варьируют Станкевича:

Моя душа, я помню с детских лет

В искании чудесного он твердил "молитвы чудные" или пел песни, полные "непонятной тоской", - но знал и озлобление и желал "железных" стихов, сравнивая поэзию с "кинжалом", тогда как Станкевич знал только "непонятную тоску"; томимый своей мечтой, уходил в отвлечения, а перед искусством благоговел, как перед ангелом-хранителем, как перед утешением.

А Бакунин? Он мог бы, воспламеняясь, всем на свете, усомниться во всем и ото всего отвернуться - кроме общественности! Вот крайнее противоположение Станкевичу, лишь *не отвергавшему* ее, и Лермонтову, бежавшему от нее в себя, в природу, к Богу в природе. Здесь уже предчувствие близкого будущего: Бакунин менял свои умственные кумиры, слишком поспешно, слишком легко, но очень рано сознал и себя - за всеми возможными переменами - еще до знакомства со Станкевичем и философией: "Я человек обстоятельств, и рука Божия начертала в моем сердце эти священные слова, которые обнимают все мое существование - он не будет жить для себя". Он, и правда, кажется, никогда не думал о себе - в отношении к личному счастью: он всегда был весь в общественности - до мелочности, до суеты. Он не мог бы впасть ни в какое "раздумье" или в отчаянье ("...Грядущее иль пусто иль темно..."). Он не был поэтом; но если бы был, то, конечно, сравнил бы свою поэзию только с кинжалом. Он и всю свою жизнь превратил в одно острое орудие борьбы...

Теперь через много лет, десятилетий, двадцатилетий, уже трех, четырех поколений, перед нами не те же ли и порывы, и соблазны? И женственная нежность Станкевича все так же пленяет и томит, и все так же искушает гневное томление Лермонтова; но неугомонная душа деятельности, двигавшая Бакунина, перед которым, несмотря ни на какую суету и мелочи, склонились и Белинский, и Герцен, и многие другие потом, преодолее ли в нас все обольщения нежности и все искушения одинокого гнева? Прелесть Станкевича – это прошлое, и если она жива посреди нас, то уже в рассеянных лучах. Безудержный индивидуализм еще недавних дней, роднящий нас с лермонтовскими отречениями, превзойден ли нами? А душа деятельности, душа движения, двигавшая и Герцена, и Белинского, и Бакунина, не толкает ли нас, не уставая, к будущему?

Но почему же жаль этого прошлого, если только подумать, что оно безвозвратно миновало в таком сосредоточении нежности? что безвозвратно отзвучала в такой чистоте и святости, зовущая к личному счастью мечта? Найдём ли мы в себе силу отказаться от всех искушений индивидуализма? Откажемся ли, если с нас и это спросится, в великий исторический час от всех порывов, хотя и личных, но бегущих к самой вечности?